

М.И. Смирнов

## М.М. Пришвин в Переславле-Залесском

Свой переезд из Талдома в Переславль Пришвин печатно объяснил так:

*«Пете [его сыну] сказали в школе, что вторая ступень у них преобразуется в семилетку, он получит свидетельство об окончании, а если хочет дальше учиться, то надо переехать в другой город. А мы уже и раньше думали, как бы податься куда-нибудь поближе к воде, и списались с Переславлем-Залесским, где находится прекрасное Плещеево озеро... Как раз в этот день получился ответ от заведующего Переславским музеем, что в Переславле школа недурная, и при музее ребятам можно хорошо заниматься краеведением, что в трех верстах от города на высоком берегу Плещеева озера есть историческая усадьба, где хранится ботик Петра Великого, и тут есть пустой дворец, в нем предполагается устроить биостанцию, и если я положу этому делу начало своими фенологическими наблюдениями, то могу занять любую квартиру в этом дворце».*

В действительности все было иначе. Пришвин скромно умолчал о прямой необходимости уехать из Талдома, вызванной его неуживчивостью. Туда он попал благодаря гостеприимству и дружескому участию писателя Сергея Клычкова, в доме отца которого он и поселился. Здесь он, как и в других предшествовавших этому местах своего обитания, вскоре же обострил отношения и так озлобил против себя всех, что ему уже пора было искать себе новое место. Местные краеведы тут же вдогонку писали о нем: «Давший идею образования нашего общества писатель М. Пришвин весь собранный им материал, а также чужой труд других работников общества увез с собой и ничего не оставил обществу».

Ничего этого я не знал, как не знал и самого Пришвина, с которым случайно встретился на конференции Госплана в феврале 1924 года. Со мной познакомился он сам. В перерыве между докладами я одиноко сидел в зале, как

ко мне подошел с шапкой черных волос широкоплечий крепкого сложения человек и отрекомендовался мне, назвав себя «писатель Пришвин». В руках у меня был изданный мною краеведный очерк Переславль-Залесского уезда. Попросил у меня эту книжку, и прочитав мою фамилию, расспросил, не в родстве ли я с покойным Сергеем Ивановичем, профессором церковной истории, и с Василием Ивановичем, директором Костромского музея. Сказал, что он знаком с ними и что теперь знает всех братьев Смирновых. Попросил сделать на книжке надпись, что я и исполнил. На этом мы расстались и больше никаких встреч и разговоров не было за всю конференцию.

– Вася, – говорю я брату, бывшему на конференции, – кто это Пришвин, вроде цыгана или бандита? Такое отталкивающее впечатление произвели на меня его серые наглые глаза, что мне просто не по себе. Да еще говорит, что Сережу и тебя знает?

– Да ведь это друг Сережи. Он нередко бывал у него и его работу о «Бабах богомерзких» изложил потом в своем художественном стиле. Я тоже дал ему теперь свою «Легенду о черте», – Успокоил меня, что Пришвин известный писатель и что мое первое впечатление ни на чем не основано.

Этот эпизод был мной забыт, как вдруг осенью (30/X–24 г.) я получил от Пришвина такое письмо:

*Я помню Вы увлекли меня рассказами о Ваших местах. И вот я держу план приехать к Вам и работать над Вашими материалами. Я пробовал здесь (в Талдоме) устроить общество изучения края, но у меня ничего не вышло, потому что я хорошо умею писать и наблюдать, но люди за мной как-то не идут. Не сужу их: сам плох! Мне хочется прислониться к серьёзному краеведу и помогать не по обязанности, а самим фактом работы моей в литературе над местными материалами. Знаю, как Вы любите свой предмет, и уверен, что обрадуетесь: как-то все краеведы ко мне прекрасно относятся...*

Принял я это обращение за чистую монету, забыл о первом впечатлении и написал в ответ самое любезное приглашение, не придав значения его же

откровенности, что он «плох» и что за ним «люди не идут». Я был поглощен мыслью художественного изображения родного мне Переславского края, скудно затронутого художественной литературой, о чем отмечено было мной еще в справочнике-руководстве по изучению нашего края – «Переславщине» (1921), и составил специальный сборник из стихотворений и разных отрывков прежних авторов и своих земляков – Н.И. Колоколова, Н.В. Жукова, А.П. Романовского и других, давших вобщем десяток стихотворений для «Родного Залесья», как назван был этот сборник. Я действительно «обрадовался», как писал Пришвин, – опустить такой редкий случай, когда явилась неожиданная возможность привлечь к моей краеведной работе такого крупного беллетриста, я не мог. Мечтал о создании в Переславле своего рода Барбизона: здесь были налицо свои художники – Д.Н. Кардовский, его жена О.Л. Делла-Вос, привозил сюда К.Ф. Юона (побывав раз, из-за неудобства сообщения по железной дороге он отказался), А.В. Григорьева и других. Комната в музее для приезжавших: писателей, художников, фотографов, артистов, научных работников – всегда стояла открытой, с полным гостеприимством. Свободна она была только зимой, а в остальное время постоянно населена. Отдать ее под квартиру Пришвину я не мог, а предложил ему во дворце на Ботике. Там в самом начале революции устроена была научная станция, в которой из года в год работал по изучению планктона Плещеева озера профессор-гидробиолог Д.А. Ласточкин со своими сотрудниками, а затем до приезда Пришвина обосновалась географическая станция I МГУ под руководством профессора В.Ф. Пиотровского.

Предлагать поэтому, как печатно заявил Пришвин, «устроить на Ботике биостанцию» я не нуждался и такого условия не ставил. Фенологические наблюдения давным-давно велись членами Научно-просветительного общества, что подтверждают печатные труды общества. Научно-краеведная работа шла полным ходом, и «полагать начало своим фенологическим наблюдениям» Пришвину не пришлось. Он опоздал, и его печатное заявление не больше как «литературно-художественный» вымысел, или, попросту говоря,

вранье, – он собирался, что и отметил в своем письме, «работать над нашими материалами», иначе сказать, над чужими, над готовыми, как он поступил с моими братьями.

Никаких условий относительно его работы здесь я не ставил, и поэтому его заявление: «если я положу начало этому делу своими фенологическими наблюдениями, то могу занять любую квартиру в этом дворце» – не соответствует действительности. Я мог дать ему только свободную южную часть дворца, незанятую научными станциями.

На свое письмо я получил от Пришвина такой ответ:

*Очень Вы обрадовали меня Вашим письмом, которое было совершенно в духе моих отношений с Василием Ивановичем и, особенно с покойным Сергеем Ивановичем. Итак, условия все подходящие, через какую-нибудь неделю или того меньше я буду у Вас на разведке. У нас теперь в семье только и разговоров, что о Переславле. Все изучили Вашу книжку прекрасно и теперь уже не напишут Переяславль, как он начертался до XV века (а почему-то тянет выговорить с я).*

*Большое Вам спасибо за предложение комнат в музее (Петровском на Ботике). Я надеюсь, однако, что это не понадобится, раз в городе можно найти себе какую-нибудь берлогу.*

*Из-за чего не еду сразу? А вот что: чтение Вашей книги и повторение слова Залесье вернуло меня к постоянной моей думе о борьбе нашего крестьянина с лесом. Это чувство леса, как беса, давно утрачено европейцем, и вот хорошо бы на этом построить сочинение...*

*Ну, вот и сижу с этим дома, из опасения, что в Москве беготня по редакциям вышибет из головы новую затею. Я несколько дней думаю, укреплюсь и прямо к Вам.*

*Всего доброго, до свидания. (23/XI–24 г.)*

Свидание это состоялось только в феврале следующего (1925) года, почти через три месяца после письма. О «лесе как бесе», если только он

действительно думал, можно было придумать немало, но, приехав, он уже не говорил об этом ни слова и потом почти не вспоминал. Что-то «вышибло» эту тему или она еще только нарастала.

Впечатление опять было неблагоприятное. Не только я, но и моя жена, и музейные работники, увидев в первый раз Пришвина, в один голос говорили мне о внушенной им антипатии. Пробыл он у меня два дня (16–17/II), в течение которых я принимал его как гостя, много беседовали. Наблюдая за ним, я действительно заметил высокомерный холодок, сознание необыкновенной своей литературной важности, вообще получился смутный тогда осадок чего-то неприятного и грубоватого, или, точнее, неджентльменского. Мы были на Ботике. Я показал ему, где предполагаю поместить его. Квартира в прекрасном каменном доме, вполне благоустроенном, понятно, понравилась ему сразу и ни о какой «берлоге» в городе не было и речи. После деревенской талдомской избы квартира в четыре великолепных комнаты с кухней прямо поразила его и при этом отдавалась почти даром: я назначил ему плату сто рублей в год или по 8 р. 50 к. в месяц. На том и порешили: он переедет сюда, как только ликвидирует дела в Талдоме. Так как Талдом всего в 80 верстах от Переславля, то я советовал проехать с имуществом, пока зима, на санях, или же по железной дороге до станции Берендеево Северных железных дорог через Москву.

Он избрал второй путь, и явился ко мне с женой 1 апреля. В противоположность ему, его Ефросинья Павловна, несмотря на свой простецкий вид, произвела на нас хорошее впечатление, простого, умного и добродушного человека. Нас порадовало это, что как бы уравновешивало обе стороны. Встречены были они мною, что называется, «с родственными объятиями», на которые сам Пришвин не реагировал нисколько, сразу показал какую-то отчуждённость, лишённую простой любезности. Поместил я их временно в комнате для приезжающих Горицкого музея, угостил великолепными переславскими сельдями в копчёном виде, что было принято как должное.

Ездили на Ботик. Квартира, обращенная окнами на юг, оказалась почти лишенной сырости, только кое-где по углам можно было заметить ее. Достаточно было нескольких дней, чтобы протопить печи, как можно было жить. Пришвин поторопился переехать, не дождавшись полной подготовки квартиры. Сторож на Ботике Иван Думнов, о котором в «Родниках Берендея» сказано: «один из тех, что с Петром (Первым) думу думали», а на самом деле в возрасте лет 35-ти, отдаленный потомок петровских «думцев», взялся прислуживать Пришвину по части рубки дров, подноски воды и прочего. «В доме нашлись какие-то козлы, доски, из которых мы сделали столы и кровати», отмечено в «Родниках» (С. 29), а на самом деле было так: знаменитый писатель привёз с собой на редкость убогий инвентарь – кроме сундука, небольшой стол и плетёное кресло, мне поэтому пришлось снабжать его для большой квартиры столами, диваном, комодом, шкафом и прочей мебелью, в том числе для кроватей козлами, имевшимися в этом доме, так что строить ему столы и кровати не приходилось. Старался обставить его как можно лучше и удобнее, создать ему такие условия, чтобы ничто не мешало работать. И действительно, обстановка, в которую он попал после Талдома, была превосходная. Помимо прекрасной квартиры, самое местоположение на берегу Плещеева озера рядом с лесами, что для охотника важно, вблизи селений и самого города, притом в пункте громкого исторического значения, ставило художника-писателя, расположившегося на житье, в исключительно редкие условия. На него хлынула и теснила его масса напоминаний о давно прошедших переживаниях предыдущих поколений, и в то же время на него смотрела современная жизнь. Неудивительно, что, попав сюда из башмачной стороны через станцию Берендеево, он стал «берендить» и считать занятый им дворец «сказочным дворцом Берендеева царства».

Оценив достоинства нового места, Пришвин поспешил заключить со мною квартирный договор на пять лет. Требование шло с его стороны, причём по его желанию внесен был пункт, что в случае отказа в продолжении договора

по истечении полного срока та и другая сторона предупреждает об этом за полгода, в случае же досрочного нарушения контракта виновная сторона уплачивает другой неустойку в размере шестимесячной арендной платы, то есть 50 рублей. Заручившись этим документом, Пришвин с торжеством потом рассказывал о сделке. Его спрашивали: «А зачем Вам договор?» — «Как зачем, а вдруг погонит, теперь шалишь, я обеспечен на пять лет»... Ефросинья Павловна рассказывала, что его не только гоняли с квартиры, но раз чуть не убили крестьяне.

Не подозревая этого и имея в виду основную цель: помочь созданию художественно-литературного произведения о родном мне крае, в своих частых беседах с ним я насыщал его краеведными сведениями настолько исчерпывающе обильно, насколько я знал и печатал за свои последние 25 лет. Все, что добыто было моим трудом за эти годы по исследованию Переславщины в архивах, печатных изданиях, путем опросов и личных наблюдений, выкладывалось ему полностью в точной и научно-правдивой формулировке. Давал ему мои печатные работы и вообще шел навстречу ему с величайшей готовностью. Как бирюк, он сидел больше у себя и редко бывал в Горицком музее.

Чувствуя неловкость, что ничем не реагирует на мою предупредительность, он не раз говорил мне: «Вот приедет Руднев, привезет портвейну, и мы устроим настоящее новоселье». Я приписывал его положение стесненности материальных средств, но затем наблюдал, как он в моем присутствии посылал за самогоном, когда ему понадобилось угостить одного заинтересовавшего его попа, описанного потом в «Родниках» под именем Фили...

Не так важно было мне его новоселье, как дружеское сближение. Временами мне казалось, что в новой обстановке он стал душевнее и лучше начальных впечатлений, что, сживаясь с новой средой и обстановкой, он сближался со мной. «Вот, — думал я, — нашел-таки человека — художника,

который прославит захиревший Переславль». Втянул я Пришвина в нашу работу, познакомил с музейными работниками и членами Научно-просветительного общества (Пезанпроба). На одном из заседаний последнего он внес предложение связаться с биостанцией юных натуралистов в Сокольниках. Проездом через Москву там он побывал и расхваливал постановку дела. Его уполномочили списаться с бюнами и пригласить оттуда представителей к нам в Переславль на пасхальные каникулы. Никакого другого постановления не было, и напечатанное в «Родниках» (с. 27) о квартире «заведующего фенологическими наблюдениями на Ботике» – художественный бред *post faktum*.

Приехали три довольно взрослых паренька из бывших беспризорников, один матрос. Они дали богатую поживу Пришвину как мастеру-беллетристу. В «Родниках» он уделил им много места, расписав их довольно верно по наружности «бандитами» (у них был наган), по развитию малограмотными недорослями, но с задорной уверенностью в собственных силах. Я не стану много говорить о них, дополню только одним: все они были истрепанные предыдущей жизнью, матрос страдал странной привычкой скакать. В отведенной музейной комнате он беспрерывно прыгал и свалил лампу, которая разбилась вдребезги. На прощанье стреляли из револьвера и прострелили стекло в окне. Пришвин знал об этом, но дипломатически умолчал. Под видом своего понимания и сочувствия к ним, в сущности, он высмеял их, выбивавшихся на новую дорогу жизни. Мало что дали они нам. С нашими бюнами при музее связей у них не наладилось: наши были и гораздо юнее, и культурнее. Ни с музеем, ни с научным обществом те тоже не сошлись. Обещали прислать других представителей, но так и не выслали. Сношения больше не возобновлялись. Инициатива Пришвина, таким образом, провалилась.

Сила инициативы по изучению родного края была не на его стороне, а на стороне местного музея и научно-просветительного общества, и Пришвину

пришлось вливаться в нашу работу и в той или иной степени принимать в ней участие эпизодически с целью дальнейшего насыщения его переславщиной. Самостоятельно же он, как художник-писатель, осваивался в новой обстановке и привычным ему методом наблюдал новых людей и новые неизвестные дотоле места.

Самого города Переславля целиком все еще не видел, и только когда после сокольнических буюнов приехал давно желанный Руднев, тоже писатель, просил показать им музей и весь город. Устроили длительную экскурсию: сначала в Горицком, затем осмотрели старый город с его земляной крепостью, собор XII века и прочее, пошли за город в Никитский монастырь, оттуда на Клещино городище и Александрову гору. Обошли пешком километров 15, проходили целый день, в течение которого я давал подробнейшие объяснения по поводу каждого уголка и памятника прошлого, говорил с большим подъемом и увлечением о родной старине. Экспансивный Руднев беспрестанно восторгался. Пришвин также был доволен всем виденным и слышанным от меня; потом части этого он включил в «Родники Берендея». Привезенный портвейн в количестве полбутылки мы распили для подкрепления сил на обратном пути и так справили обещанное новоселье.

По намеченному плану моей краеведной работы в июне предстояло осуществление задуманной ещё в прошлом году экспедиции на лодках из Переславского озера по рекам Нерли – Кубре.

Нужно сказать, что мои юные краеведы из старших учеников второй ступени сговорились проехать на лодке по Нерли до самого устья ее на Волге. Это была собственная их инициатива. Мне оставалось только инструктировать их относительно собирания краеведческих материалов и, главное, описания самой реки, ее фарватера, глубины, ширины и прочего. Ведь это был древнейший водный путь новгородцев в Ополье, связанный с другой Нерлью. Что представлял теперь собою он, никаких сведений я не находил. Ребята успешно проехали туда и обратно и дали мне описание Нерли, хотя и не

научное, но достаточное, чтобы судить в общих чертах о современном состоянии реки. Измучились и изголодались они дорогой сильно, но приобрели богатый опыт и не потеряли охоты к дальнейшим походам в этом роде.

Их прошлый опыт и лег в основу кольцевой поездки на лодках частью по той же Нерли и далее по ее притоку Кубре до верховья, чтобы привезти потом лодки на подводах. Вся поездка должна была происходить в пределах только переславских и с таким расчётом, чтобы 14 июня, в день «крапивного заговенья», быть в деревне Лихарево, где справлялся ещё старинный обряд, уцелевший единственно только там. Намечено это было задолго до приезда Пришвина, и его замечание в «Родниках» (с. 86): «мы задумали с историком исследовать языческий обряд „крапивное заговенье“» напоминает известное «мы пахали»...

Поехали на трех лодках, причем видевшая на Нерли виды молодежь впереди, ибо по таким речкам как Кубря, прегражденная мельницами и запрудами для верш, приходилось нередко пускать в ход топор и пилу. Одни мы без них не могли бы проехать. Цель экспедиции была комплексная: попутно изучалась и природа, и жизнь населения, прошлая и настоящая. Подвел нас геолог, он же фотограф, обманул нас в последнюю минуту, отчего экспедиция значительно обесценилась. Провели мы на лодках девять дней (с 12 по 20 июля) в довольно дождливую и нетеплую погоду, проехав водою около 150 километров. Все измучились, устали и надоели в некоторой степени друг другу. Пришвин дорогой хвастовал по-охотничьи своими собаками, ружьями и меткостью стрельбы и при этом безбожно пуделял. У него был финский нож, которым он колот сахар, и когда я раз взял его, чтобы последовать его примеру, он вырвал его у меня под предлогом, что я испорчу его. За эти дни я пригляделся к нему ближе и во мне началось колебание: хорошо ли я сделал, что впустил его в Переславль. Как бы не нагадил он?

Описание этой экспедиции он напечатал потом в «Красной Нови» (1925 год, № 8 и 9), а я в «Докладах научного общества» (1926 год, № 15). Свой рассказ он оборвал эффектным изображением «крапивного заговенья», я же довел описание до конца нашего пути и даже до конца самых верховьев Кубри, которые обошел я уже один пешком. Пришвин включил сюда же археологические разведки А. А. Спицына, что составляло в реальности последующий эпизод, имевший место через месяц в июле того же года.

Так как Пришвин никогда не видал археологических раскопок и мечтал, по его словам, написать какой-то археологический роман, то я пригласил его сопровождать нас с Александром Андреевичем [Спицыным], приехавшим ко мне на три дня. Мы отправились на открытые мной неолитические стоянки: сначала на реке Вёксе и затем далее на озере Сомине. Близ деревни Хмельники, по моему предложению, было обследовано место жальничных погребений и груды каменных всхолмлений на Стуловой горе. Когда возвращались с раскопок Плещеевым озером, Спицын и Пришвин завели оживленный разговор между собой. Я сидел на веслах и внимательно слушал молча. Речь шла о том, что один только талант в человеке это не все, стоимость и достоинство человека определяется вместе с тем характером отношений его к окружающим, что довольно часто талантом обладают порочные люди. Спицын защищал моральную сторону и говорил, что истинный талант ценен не сам по себе, но непременно своей этической природой. Пришвин защищал право таланта и давал ему полную свободу нарушения условностей. Приводились примеры разных исторических личностей. Самый тон разговора был мирный, корректный, двух умных людей. Я не мешал им и слушал в сторонке. Оставшись наедине с Александром Андреевичем, я спросил его: почему он завел этот разговор с Пришвиным и что вообще думает он о нем? «Потому что ваш Пришвин — хищник, — ответил мне добрейший А. А., видевший его впервые, — я и завел разговор с ним о таланте и пороке»...

Я стал опасаться за то, что напишет о моей родине Пришвин. Писателей, творцов художественной литературы, лично никого не знал и судил о них в простоте душевной по их произведениям, идеализировал их, как людей одаренных не только литературным творчеством, но и всеми добродетелями человеческого достоинства. <...>

Его «Колобок» и другие рассказы, которые мне дарил или давал на время читать, были живо и увлекательно написаны прекрасным языком. Как они создавались, я не имел понятия, но гарантировали, казалось мне, не один художественный стиль, а и реальную правдивость, так как я высыпал перед ним все о нашем настоящем и прошлом: на – бери и созидай. Жизнь сильнее и красочнее выдумок, а она давалась ему так, как она есть.

Писал Пришвин чаще по ночам, при этом пил крепкий чай и считал, что он очень полезен ему в работе. В 12 часов ночи подавался ему самовар, и весь дом замирал, требовалась абсолютная тишина. В трех комнатах оставался один, а жену и двоих сыновей помещал в маленькой комнате и кухне, собакам разрешалось оставаться у него. Писал он быстро и помногу. Я старался получить рукопись для прочтения, но он лично читал разные выдержки, в которых я не находил особых искажений и все же делал разные замечания. Мне удалось убедить, чтобы он прочитал ее в заседаниях краеведного общества, происходивших при Горицком музее. Но читал тоже с большими пропусками, как это стало ясно впоследствии, и все же ему сделано было немало возражений на допущенные им искажения и неправильности. В заключение устроили ему овацию и высказывали пожелания успеха его книге о Переславщине.

На другой день я получил от него письмо. В нем он, между прочим, писал:

*Что касается платы за помещение во время производства моей краеведческой работы, отрывки которой я читал в последнем заседании „Пезанпроба“, то я прошу пересмотреть вопрос о плате, потому что при подобных моих исследованиях на всём пространстве России, от Архангельска*

*до Каркаралинска, ни одно государственное учреждение никогда не брало с меня платы.*

Значит, он хотел жить даром. Мне пришлось разъяснить ему, что Переславль-Залесское научно-просветительное общество, на собрании членов которого он читал свои отрывки, не есть государственное учреждение, а добровольческая организация, в которой все мы работаем и печатаемся бесплатно. Музей же, хотя и государственное учреждение, затрудняется это сделать по целому ряду соображений: его личную квартиру нельзя считать «биостанцией» музея, ибо таковая была только в его воображении и в напечатанных затем «Родниках». На самом деле это была жилая и рабочая площадь лично его самого. Материалы для его произведения все давали ему бесплатно. Самая плата за квартиру была ничтожная. В деньгах, как это выяснилось, он не нуждался, ибо умудрялся получать гонорары за одну и ту же вещь из разных редакций. А главное, думал я, бесплатный квартирант на вечные времена – его и не выживешь: он без конца будет строчить «краеведческие», так сказать, работы. Просьбу его поэтому отклонил, написав ему в возможно мягких тонах о невозможности удовлетворить его.

Он, видимо, не очень осердился, просто попробовал – нельзя ли сорвать за чтение. Компенсировал я его другим способом: устроил у себя бесплатно на квартире его сына Петю, товарища по школе моего Всеволода, но, понятно, с платой за питание. Было это и дешево и выгодно писателю, а кроме того, в культурной семье приучало мальчика к культурному режиму. Он даже не умел пользоваться вилок за едой и первое время брал жаркое с тарелки прямо руками. Связующей нитью между нашими семьями стал Петя. Частью от него, а также от Ефросиньи Павловны нам стали известны некоторые подробности о Пришвине, его семейном деспотизме, обратившем жену в прислугу, о его непоседливости и неуживчивости, вызванными не одними исканиями таланта новых впечатлений, но также дурным его характером, оскорблениями и мстительностью, вынужденными отъездами и чуть ли не бегством поневоле.

Меня удивило, что у них в квартире нет ни одной полки с книгами. На это мне объяснили, что библиотеки нет, и Пришвин чужого не читает, что действительно я заметил по своим книгам, взятым им на прочтение. Что говорил он потом по поводу их, повергло меня в большое изумление, как чушь, и мне пришлось убедиться, что он их и не открывал.

Хотя осенью мы не навещали один другого, но через детей знали, что делается тут и там. Мы узнали, что в «Красной Нови» произведение Пришвина принято было с большой готовностью, что дела их денежные улучшаются, что предполагается специальное издание в Госиздате особой книжкой «Родников Берендея». На Ботике знали о музейных и моих личных делах и, между прочим, о праздновании в ноябре моего 25-летнего юбилея, разрешенного Главнаукой. Кроме того, Пришвин получил официальное приглашение от музея. Чествовать меня собрался из разных городов цвет тогдашнего краеведения. Не буду перечислять их имен <...>. Скажу только, что не постеснялись дальностью и неудобством пути (20 верст на лошадях в мороз) свыше 20 человек из Ленинграда, Москвы, Костромы, Дмитрова, Сергиева, Ростова, – профессора и заведующие музеями. Они привезли кипу адресов и приношений книгами, дали блестящую оценку моей работе. Чем ободрили и утешили меня сердечно. Я переживал очередной нажим от местного исполкома. И его заправилы отомстили мне приказом, запрещающим учреждениям и организациям Переславля приветствовать меня. Переславцев, желавших засвидетельствовать свое уважение ко мне явилось все же немало – большая музейная аудитория была полна. Я оказался в положении доктора Штокмана. Что меня поразило, так это отсутствие Пришвина, писавшего за несколько времени перед этим моей жене:

*Мне прислали повестку на собрание Пезанпроба по поводу празднования юбилея, было грязно, и я не пошел и совершенно не подозревал, что дело идет к юбилею Михаила Ивановича.*

*Боюсь, что мое отсутствие будет неверно понято, и прошу Вас, когда приедет Михаил Иванович, сказать ему об этом и попросить его известить меня с Петей, когда же надо придти на юбилей: я искренне желаю на нем быть.*

С Петей жена послала ему записку, Петя прекрасно знал день юбилея, и сам М.М. знал, официальное приглашение он получил. Чего же больше?

Меня осаждали вопросами со всех сторон, а особенно писатели Александр Яковлев и Александр Руднев, приехавшие на юбилей, отчего нет Пришвина? Создавалось впечатление весьма невыгодное для меня: грызусь со всеми. А я был чист и прав в отношении исполкома и писателя Пришвина. Наутро в двух розвальнях ездили гурьбою осматривать Переславль, заехали на Ботик, сказали нам, что Пришвина нет. А дома меня ждало поздравительное письмо, в котором он писал:

*Крайне смущен, что не могу лично присутствовать. Случилось на грех, что как раз выпала пороша и получилось известие: обложено 18 волков! Дело не в охоте как таковой, но помнит, в одном из первых моих писем я говорил, что еду в Переславль главным образом за волками, совершенно необходимо для своего лесного романа. Крайне трудно это объяснить, но Вы поймете меня и извините.*

После оказалось, что в эти дни никакой охоты на волков не было, как не был он участником подобной охоты и далее в течение наступившей зимы. Дело было в чем-то другом. Александр Яковлев объяснял это «боязнью публики и публичности», которой якобы страдал Пришвин, подобно Чехову. Но в данном случае публика-то была своя, в числе ее мой брат Василий Иванович, его друзья-писатели. Краеведу Пришвину, писавшему мне, что «все краеведы к нему прекрасно относятся» представился исключительно благоприятный случай общения с краеведами.

Но краеведу Пришвину, опубликовавшему в «Красной Нови» свой особый краеведный метод и свысока и даже отрицательно относившемуся к

детальной научной работе краеведов, или, проще говоря, оплевавшему краеведов – рядовых работников, было страшновато появляться среди них. Многие уже успели прочитать в журнале его «записки фенолога». Ему могли дать бой. Неприемлемость и неправильность его точки зрения образцово разобрана потом Н.П. Анциферовым в его статье «Беллетристы-краеведы». Я не стану повторяться и отсылаю желающих к этой работе. Замечу лишь то, что Пришвин – «краевед» особенный, желающий казаться каким-то сверх-краеведом, владеющим могучей интуицией, заменяющей ему такую мелочь, как наука. Как краеведный орел он парит надо всеми, а кропотливое изучение – участь рядовых краеведных работников, каких-то муравьев. И вот этот орел трусливо уклонился защищать свою точку зрения, сбежал куда-то в лес. «Бегают нечестивец ни единому же гонящу». Наблюдил и скрылся.

А наберендил он в своих «Родниках» свыше всякой меры не только о краеведном своем методе, а и в описании самого лица края. Для посторонних читателей, в глаза не выдавших Переславль-Залесский, он дал живо и занимательно написанную книжку, прекрасным языком, с массой эффектных сцен, часто комического характера, вывел ряд персонажей разнообразного типа и характера, ярко очерченных в «берендеевых» красках и тонах, блещет топонимикой края, не говоря уже о художественных картинах природы. Его книжка имела успех. «Не знаю уж, каким только изданием выходит моя книжка „Родники Берендея“, – хвастал он (уж будто-бы он-то не знает!), – посвященная этому краю, написанная под соснами на этих кручах. Знаю наверно, что знатные люди нашей страны (назову Веру Николаевну Фигнер), прочитав мою книгу, ездили смотреть и озеро, и реку Вексу», понятно, в первую голову и самый Переславль.

Пусть это так. Но переславцев, прекрасно знающих свои места, окружавших их лиц, и в частности, и в общем, его книжка не удовлетворила и раздосадовала, как дешевенькое зеркало, в котором вы не узнаете свою физиономию. Слишком много в ней фальшивого, утрированного ради эффекта.

Ни одного замечания, сделанного ему после чтения в научно-просветительном обществе, он не принял в расчет и исправлений не внес. Знал, что фальшивит, и все же фальшивил: так ему нужно было по плану. Мои запоздалые опасения оправдались. Не я использовал Пришвина, а он умело и бесцеремонно использовал созданную ему обстановку и дал описание Переславщины на манер фельетона, рассчитанного на неосведомленного читателя. И писал он замечательно быстро. В том же июле, когда приезжал Спицын, он успел уже окончить свою работу, отправить в редакцию журнала, выпустившего ее в августовской книжке. Отличаясь богатейшей памятью, он ничего не записывал предварительно, а торопился под живым впечатлением вылить слышанное и виденное на бумагу. Натерелое авторское перо спешило блеснуть новизной материала и поскорее схватить гонорар.

Своему первому и самому обширному произведению, написанному здесь, дал интригующее и претенциозное название – «Родники Берендея». Оно сложилось, по его словам, еще до приезда в Переславль, по моему письму, в котором я упомянул железнодорожную станцию Берендеево.

*Какие удивительные есть имена, – отмечает он, – как они на меня действуют: дворец [на Ботике] мне явился сказочным дворцом Берендеева царства, и пошло, и пошло в душе берендить.*

*– Ну, Берендей, сказал я себе, – думать тебе больше нечего (с. 20).*

Переехав же на жительство в этот «сказочный дворец», он почувствовал себя на манер сказочного царя Берендея из «Снегурочки» Островского. Но на восьмом году революции прямо называть себя царем Берендеем было нельзя, рискованно. Поэтому он скромно именуется «Берендеем», а жену «Берендеевна» с большой буквы, а пришедших к нему на поклон берендеев, как и подобает, с маленькой.

Прочитайте эту псевдо-идиллическую сцену на страницах 70–72. Переславцу она смешна, фальшива и нелепа. Заберендил человек. Чтобы попасть на Ботик из отдаленных Половецкого и Ведомши, надо было, не

продавая своих продуктов в Переславле, приехать к Пришвину занарок. Затем, никто из них не мог продавать домотканого сукна, ибо таковое прекратили производить еще до революции, а тем более кружев, которых никогда не вырабатывали в селах, а лишь на фабриках города Переславля. Не могли берендеи нести такую чушь о «добрых и недобрых» селах, как это написал он, ибо таких сел или нет, а если и есть, то в других местах. Нахватавшись от меня здешней топонимики, которой я посвятил специальную работу, Пришвин взял из нее, что позвончее, и без всякого отношения к реальности заиграл ими. Ведь они тоже «удивительные имена» и тоже «подействовали» на него. Они зачаровали его наряду с термином «берендей» и некстати собраны в кучу. У него не хватило фантазии дать им надлежащее место и лучшее оформление не потому только, что он спешил писать, а просто по недостатку фантазии и по его бесцеремонности по отношению к краеведческой точности.

Из дальнейшего изложения видно, что Пришвин именем берендеев окрестил переславское население (с. 80), а сам он – главный Берендей, хотя и из приезжих. «Ярик, – обращается он к своей собаке, – давай с тобой устроим на Ботике Берендееву биостанцию, чтобы вокруг нас верст на 25 остались бы неприкосновенными все леса, все птицы, все зверье, все родники Берендея. На Гремячей горе пусть будет высшая школа, и в нее будут допускаться только немногие, доказавшие особенно силу своего творчества, и то на короткое время, для подготовки большого праздника жизни, в котором все участники радовались бы, непременно прибавляя от себя что-нибудь к Берендееву миру».

Как отсюда следует, «родники» разные: на Ботике в его заповеднике – Берендеева академия высшего творчества, а за пределами его все мелкие родники, но все же Берендея, одни побольше, другие поменьше, среди них чистые и мутные, одним словом, всякие. По собственному признанию автора, оказывается, он «не любит маленького (даже) насилия над собой, чтобы войти в чужую эпоху, и даже замечал (за собой), что иногда с ненавистью смотрит на памятники старины (с. 83). Вот уж это не по-берендеевски. Без понимания

«чужой эпохи» (а в Переславле всё сплошь для него чужая эпоха веков и даже тысячелетий) уж никак не Берендей, а просто ловкий самозванец, облачившийся по-актерски в костюм и маску Берендея. Его пленила поза и роль, совершенно не подходящие ему. Чтобы играть роль Берендея, притом играть правдиво и жизненно, нужно глубоко чувствовать прошлое Переславского края, на каждом шагу насыщенного теми или иными остатками старины, надо здраво и объективно разобраться в нём, а не «смотреть с ненавистью».

А.П. Чехов писал: «Прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого».

Ничего не теряйте из прошлого. Только через прошлое можно творить настоящее, – утверждал Анатолий Франс.

Не понимая того, что в таких давно оседлых местах, как Переславль, можно браться за перо, за изображение «лица края» не с одной интуицией, а непременно с предварительной исторической зарядкой, Пришвин взялся не за свое дело, хотя и пишет:

*Я пользуюсь для изображения края своей врожденной способностью объединять пережитое, впечатления от жизни, от прочитанного и представлять все лицо, которое в повестях называется **героем**. В конце концов этот **герой** берется из самого себя, из своих собственных мыслей и чувств. Но вместо того, чтобы отдавать свои мысли и чувства вымышленному лицу, я отдаю их тому краю, который меня интересует, и так получается край, как живое существо. Я полагаю, что этот простой прием не изменит мне и теперь, и, описывая моменты встречи моей с краем, я получу картину, которую невозможно получить, складывая вместе работы ученых, исследующих край в области своей специальности (с. 89–90).*

А если изменит? Что-то похожее на авось – «авось вывезет». При описании края талдомских сапожников, может быть, достаточно было «этого простого приема», но для выявления сложного и исторически богатого

Переславского края маловато, да еще при его нелюбви к старине, требующей напряжения для ее понимания.

Художественных описаний природы, написанных Пришвиным с присущим ему мастерством, касаться я не буду. Автор любит и чувствует ее. Все же кое-что биологам показалось странным: зацвела, например, весной заячья капуста, цвести которой полагается осенью. Ехидно улыбались они по этому поводу и взяли под подозрение его фенологические наблюдения. Но все же в общем природа у берендеев как есть природа: у них озера, реки, леса, пашни, звери, птицы, травы и так далее. Останавливаться на этом не стоит, все это в порядке вещей – что есть и что можно встретить в средней полосе страны.

\*\*\*

Другое дело люди и их дела. Слив воедино все рассеянные по фенологическим рубрикам родники Берендея, получим нечто такое самобытное и декоративно-красочное, что не найдешь и днем с огнем ни в каком другом месте. Из этих родников, можно ожидать, получится если не море, то берендеево озеро, говоря метафорическим языком автора; а прозой – полная и разносторонняя картина прошлой и современной жизни берендеев-переславцев.

Вот их город – центр экономический, административный и культурный. Ему на исходе восьмое столетие. Переславль-Залесский один из активнейших строителей Великорусского государства – родина знаменитого Александра Невского и наследственный удел его потомства. Из переславской территории он выделил Московское княжество для младшего сына, а затем со смертью бездетного переславского внука обе половины снова объединились, усилив Москву в ущерб другим княжениям. Последняя обязана своим усилением и возвышением, прежде всего и более всего, Переславлю-Залесскому.

До разорения татарами-завоевателями он был заметным культурным центром: имел своего летописца и писателя, что возродилось в ином виде только в XVI веке, когда Александрова слобода, входившая в территорию Переславского уезда, обратилась в резиденцию царя Ивана IV.

При Петре I Переславль стал базой корабельного строения, базой первичной организации морского флота.

Как в эпоху речных путей, так равно в эпоху колесных Переславль был большим придорожным городом, торговым и экономически значительным. Но в XIX веке с проведением железной дороги в обход его по злой и преступной воле местных воротил, катастрофически обратился в захолустный.

Тем не менее, ещё во второй половине XVIII века в нём возникла фабричная промышленность: прядильная, ткацкая, красильная и другие. Одна из этих фабрик пережила революцию и работает сейчас («Красное эхо»), здесь также развилась механическая выработка прошивок, кружев и прочего. Восточная окраина города, населенная фабричными рабочими, в революцию образовала поселок – «Пролетарский городок». Половина населения Переславля рабочие с их семьями. Западная сторона города, упирающаяся в озеро, так называемые Рыбаки или Рыбная слобода – оригинальный архаический уголок, причем большинство рыбаков работает также на фабриках.

Старое и новое переплелось внешне и внутренне заметными и ярко характерными чертами. С первого взгляда доминирует старый феодальный лик, со множеством церквей и бывших монастырей, но нужно быть слепым или намеренно закрыть глаза, чтобы не видеть отживание прошлого и молодой сильный рост настоящего.

\*\*\*

Так в действительности, а в изображении Пришвина вы встречаете лишь упоминания о некоторых именах и памятниках прошлого, записанные как затверженный с чужого голоса урок без всякого проникновения в сердце пережитых городом веков. Но зато вы находите пространное повествование о зайце, который жил в переславских капустниках. Сомнительному анекдоту он посвящает целые страницы (с. 36–40). Отмечает Рыбную слободу, умиляется чайкам, шьет у рыбацкого попа сапоги и не жалеет красок расцветить другого попа Филю, сделав из него форменный гротеск, весьма выигрышный в общей

коллекции берендеев, но удаленный от реальности. Поп Филя, как комический сюжет из фарса, блещет на многих страницах «Родников» и едва ли не самый законченный и наиболее ярко очерченный берендей.

Из советских учреждений города Пришвин подробно останавливается на музее, помещающемся в упраздненном еще при Екатерине II монастыре. Миновать его он никак не мог, так как вся завязка дела, давшая материал для «Родников», органически оказалась связанной с ним. Но это не помешало автору внести нелепую отсебятину. Он буквально пьянеет от звучных топонимических имен и играет на диссонансе их созвучий. «Где находится наш музей, – пишет он, – называется Пречистая на Горице, а самая земля, на которой стоит Пречистая, называется Вшивая горка, и на Вшивой улица Свистуша, теперь переименованная в улицу Володарского» (с. 21). Что ни слово, то грубое искажение, неприемлемое для переславца. Горица, на которой стоит бывший монастырь, это одно, рядом с ней вторая горка, расположенная на ней улица – Вшивая, в полукилометре далее на восток за Московским шоссе – улица Свистуша. Ведь указывали Пришвину на этот, казалось нам, промах, он выслушал и не исправил. Так забористее, считал он. Такие же нарушения точности, и, так сказать, адресности топонимических названий он бесцеремонно тыкает везде. Не зная, где находятся те пункты, куда их следует поместить, он клеивает их наобум, где попало (например, Татин куст, но не «Татын»), как он пишет, Черторой и другие, см. с. 101 и 108). По краеведчески ли это?

Другая подчеркнутая им черта относительно музея – это его «колокольные средства» (с. 86–90). Создается впечатление, что музей только и жил ими. Опять шарж и одностороннее сгущение красок. Переславский музей содержался тогда на государственные средства, весьма небольшие. В дополнение к ним разрешалась по декрету Совнаркома продажа церковных вещей из ликвидируемых монастырей и церквей, дававшая так называемые спецсредства. Колокола продавались Рудметаллторгу, центральное управление

часть этих денег отчисляла музею. Эти деньги не были значительны, но вместе с другими увеличивали скудный бюджет.

Напрасно искать на страницах «Родников» хотя бы простого упоминания о городских фабриках и фабричных рабочих, их нет. Какие же рабочие в царстве Берендея? Они портят и нарушают всю картину, поэтому их побоку. Не только рабочих, но и самой революции здесь не было (с. 31–32) – одни берендеи, живущие по-берендеевски безмятежно и идиллически.

Если таков город, то деревня и подавно махрово берендеевская, не знавшая, что такое революция. Но описания самой деревни в «Родниках» нет, ее иллюстрируют отдельно выхваченные берендеи. Одни из них, как пахарь или Павел (с. 62–63), «сдвинулись» от революции. Другие остались «первобытными» людьми (таков Николай, работавший на раскопках) (с. 100–116). Самые раскопки описаны с ложным пафосом чего-то таинственного и чуть ли не суеверного. Психика Николая передана с большой утрировкой. Все было проще и естественнее. Это просто литературный прием Пришвина.

Но где он правдиво изобразил берендеев, так это на их празднике в честь Ярилы, на «крапивном заговенье» (последнее воскресенье перед Петровками). Фактически, конечно, немало им сокращено, но в общем тон верный, описание обряда, по существу, правильное и эпизод с «бабами богомерзкими» подлинный. Общее впечатление у нас троих (с нами был еще художник Покровский) было чрезвычайно сильное, мы живо чувствовали вакхический отголосок давно минувшего культа и не в каком-нибудь актерском исполнении, а в традиционном лицедействе деревенской массы, в ее переживаниях.

Вот если бы Пришвин везде остался правдивым и честным художником, как в этот раз, его «Родники» были бы любимой книгой чтения в Переславле. Но он столько напихал в неё своей персональной всякой всячины, так испортил ее тщеславными претензиями на руководящую краеведную роль, покушениями замаскировать дело с квартирой, выставить себя «разночинцем» (с. 50), тогда как был помещиком, – одним словом, так выявил свои отрицательные черты,

что, как ложка дегтя портила кадку меду, так и его несимпатичная манера отталкивала нас от его произведения. Если старания его направлены были на то, чтобы выставить себя премудрым Берендеем, то всех других он рисовал теми красками, какими хотел. Ни одному из этих живых людей, прежде чем напечатать, он не открыл, как именно расписал их. Немудрено, что нашлись обидевшиеся на него, и притом обидевшиеся справедливо. А так как повинен был в Пришвине я, то ко мне и посыпались претензии. Я оказался в положении свата, которому полагается «первая чарка и первая палка».

Бесспорно, Пришвин творил «Родники Берендея» так, как он писал и все другое. Он писал не ради правды и любви, а ради заработка. Решительно все равно ему, Талдом или Переславль. Они нужны ему лишь как объекты гонорара и больше ничего.<...> Извлекая, что ему нужно, отбрасывал и переходил к другому. И новые места, и новые люди ему интересны постольку, поскольку можно заработать на них, ценит их на монету. Поэтому его творчество и отличается фельетонно-газетной быстротой, поверхностностью, украшается разными трюками в стиле покойного Лейкина и его «Осколков». Ему удалось подобрать в «Родниках» смачный букет из цветов определенного характера и преподнести его для развлечения читающей публики, как пикантную картинку. Поищите-ка в самом деле в советской революционной земле другой еще такой уголок с берендеями. Не найти. А Пришвин нашел, неважно, что в собственной фантазии и извращении действительности, а важно, что вышло ново и сенсационно.

На тех, кто любит свой край, на коренных переславцев, его «Родники» произвели впечатление халтуры нехорошего тона. Особенно неприятно это было мне, ожидавшему большего. Конечно, есть известная польза и от того, что он написал. Стали знать, что за горами за долами на берегу прекрасного озера есть забытый древний град Переславль, через это обратили на него внимание. Это привлечет других художников слова, и они найдут здесь иные темы и разработают их с честной правдивостью и красотой.

Ошеломлённый чтением «Родников», я избегал встреч с Пришвиным. Опасался, что не удержусь и наговорю ему неприятностей. Пришлось свидеться под Новый год. Съехались дети на Святки. Соня привезла из ВХУТЕМАСа подругу, здесь вертелись дети Пришвина. Молодежь решила устроить встречу Нового года костюмированным вечером. Чтобы потешить, я нарядил всех в прежних времен костюмы. Получился довольно разнокалиберный ансамбль: одна девица в кокошнике, другая в кринолине, мальчишки – кто во фраке, иной в мундире. Было чудно и весело им. Но не явился Пришвин, обещавший быть к определенному часу. Оpozдал часа на три, очевидно кобенинся и не хотел придти. Наконец явился в двенадцатом часу. Сели за ужин, выпили по рюмке водки. Нелегкая дернула писателя хвостануть, какой фурор произвели его «Родники Берендея», цитировал чей-то отзыв. В голову ударило мне это вместе с водкой, как шлепок. Меня, что называется, прорвало, и я выложил ему свою горькую обиду напрямки. Говорилось это несдержанно, с нескрываемым огорчением.

Новый 1926 год начался, таким образом, отвратительно. Я осуждал себя потом, что с такими типами надо полегче: худой мир все же лучше ссоры. Пришвин свирепо обиделся, перестал при встречах кланяться, я тоже. Отчуждение полное. Но Петя продолжает жить у меня на квартире до самого окончания учебного года в мае или июне. Держать его дальше стало неудобно. Я отказал, на что Пришвин обиделся еще больше. Поместил сына к Кардовским, где, кроме 20 рублей ежемесячной платы, требовалось от мальчика ежедневно носить воду для дома от колодца и колоть дрова для кухни и печей.

\*\*\*

Связь музея с Пришвиным поддерживал мой помощник С.С. Геммельман. Любопытный тип: по происхождению дворянин, по образованию межевой инженер, по профессии купец вследствие женитьбы на переславской купчихе Шаланиной, сонаследнице других сестер. Офицер запаса, городской голова при Временном правительстве, затем нэпман. В молодости он напечатал томик

стихов, а дальше любительски увлекался энтомологией и имел значительную коллекцию бабочек и жуков. Когда нэпманов ликвидировали, Геммельман сбежал ко мне в музей, куда я звал его организовать естественно-исторический отдел. Прикрепить его к музею, как лишенца, стоило мне крупных неприятностей и борьбы. Я рисковал тем, что меня самого выгонят из музея, но уладил дело при посредстве Главнауки. Когда приехал Пришвин, Геммельман работал первый год. Автору «Родников» он весьма понравился, как «честный и способный» человек (с. 24). Последнее несомненно, но честность его вот какова. Чтобы смыть с себя клеймо лишенца, в течение ряда лет он тайно писал обо мне, куда полагается, сообщения и доносы, провоцировал и, в конце концов, добился своего. Я пострадал высылкой в Нарым, а он остался в музее и затем преблагополучно был переброшен в Ярославский музей, где окончил свои дни.

В последующих мелких рассказах Пришвина, написанных после «Родников», он фигурирует нередко с эпитетами не только честного, но и нежного, сердечного. Вот этот преисполненный высоких добродетелей лишенец в конце лета принес известие с Ботика, что Пришвин продал Госиздату полное собрание своих сочинений и покупает за десять тысяч рублей в г. Сергиеве, теперь Загорске, двухэтажный дом. А ведь как приbedнялся, сердечный! Как ему хотелось жить на дармовщинку во дворце и как он вообще скупо жил! Такова уж кулацкая натура, унаследованная от Алпатовых. Лирику Фету жесткая практическая сноровка, обогатившая его, не помешала писать чувствительные стихи, а Пришвину – его рассказы. Одно дело талант, другое человек, – хотя и в одном лице, они живут разной жизнью. Примеров этого немало.

1 октября Пришвин уехал в собственный дом, прожив на Ботике ровно полтора года. По контракту он должен был уплатить неустойку в размере полугодовой платы, о чем и написано было ему от музея. Ну, где тут. На эту мелочь он не обратил и внимания, а судиться с ним охотников не нашлось.

Я вздохнул свободно. Конец, думаю, неприятностям. Забудем один другого. Но не тут-то было. По отъезде он напечатал в «Красной Ниве» небольшой рассказ «Образование», в котором цинично оболгал память моей матери, священную для нас, ее детей, память мученицы в жизни и страдальницы от пьяного отца. По его изображению, основанному, якобы на рассказе крестьянина Большой Бремболы, я и мои братья Сергей и Василий, с которыми он был таким приятелем, получили высшее образование на средства, добывавшиеся нашей матерью путем связи с каким-то богатым соседом-вдовцом. Наше образование он ехидно высмеивал, как купленное ценой позора. Клеветать так подло и бесстыже способен только мерзавец. Никакого вдовца из знакомых не было ни по соседству, ни вдали. Время от времени навещал наш дом вдовец – родной брат нашей матери. И только. От нас, детей, не укрылось бы ничего. Ничего похожего на это никто из нас не замечал, ибо никакого позора в нашей семье не существовало. Здесь царило полное согласие и любовь между родителями, пока отец во вторую половину его жизни не обратился в алкоголика. Происходило все это на моих глазах, как старшего сына. Приход отца был небольшой, средств от него получалось не много. Но сыновья и не потребовали их на свое высшее и даже среднее образование: они учились частью в семинарии и оба (Сергей и Василий) в академии на казенный счет, а я окончил Археологический институт пожилым человеком, состоя на чиновничьей службе. Так именно было в действительности.

Я чуть не заболел, прочитав эту мерзость Пришвина, за которую следовало побить ему морду или начать судебный процесс. Написал сейчас же брату Васе и советовался, как быть. Он отговорил меня от того и от другого и предложил в виде выхода передать дело на суд истории, описав его, как было. Только поэтому я и взялся за перо, чтобы написать свои горькие воспоминания о Пришвине. Реабилитировать память дорогой мне матери и показать в истинном свете писателя Пришвина — вот что руководило мной.

Мужик ругается по-матерному, а как назвать поступок высококвалифицированного автора? Пожалуй, похуже матерщины. Но такова уж его природа: где бы он ни был, везде оканчивал пакостью. В Талдоме обокрал краеведов, а в Переславле закидал грязью.

Подлец! – скажут скептики,

Не зная диалектики...

Надолго я забыл Пришвина, прошел с тех пор почти десяток лет, как вдруг он печатно вспомнил меня в своей убогой статейке «Дубровский». Только полный профан в истории «Журавлиной родины» и слабо осведомленный пушкинианец мог написать такую заметку да еще предлагать, чтобы его материал «побудил историка литературы проверить предполагаемую мной связь пушкинского Дубровского с народным сказанием о графе Дубровском».

Заболотье Дубровское, куда он ездил на охоту десяток лет и прошлое которого, по своему обыкновению, он не поинтересовался узнать, никогда не принадлежало никакому графу. Владельцем его был стольник Федор (Богдан) Петрович Дубровский, бывший за границей по посольским делам, сторонник и домашний человек царевича Алексея Петровича, давший ему совет отдаться под покровительство австрийского императора, за что был казнен в 1718 году. На роскошном евангелии, пожертвованном им в свою сельскую церковь, никакого упоминания о Троекурове нет, а лишь одно имя Ф.П. Дубровского и далее только перечень имен ближайших родственников. Никакой Кистеневки в окрестностях не существовало, и в своем краеведном очерке Переславль-Залесского уезда я, понятно не упоминал о ней.

Герой Пушкина Дубровский и пришвинский граф Дубровский, таким образом, не имеют ничего общего между собою, и искать между ними какой-то связи можно только такому «фольклористу», как Пришвин. Мне стало смешно, и я колебался, что лучше сделать: выступить ли против него печатно, или просто написать письмо, пристыдив его невежество по-домашнему. Мою

заметку могли похоронить в редакции, где меня не знают, и где печатают всякую дребедень Пришвина. Я решил избрать второй путь. Написал ему без указания своего адреса подробное письмо, в котором разъяснил ему курьезность его неудачных потуг примкнуть к кругу пушкинианцев, и дал историческую справку о Дубровском – владельце Заболотья. И что же вы думаете? Во второй книжке «Советского краеведения» он помещает заметку «Еще о Дубровском», состоящую из выдержки моего письма с коротким добавлением, в котором нахально утверждает, что раз Пушкин приезжал в д. Сергиевку к Ушаковым, то все сказанное мной не имеет значения, а он, Пушкин, прав. Ухитрился получить с редакции гонорар даже и за мое письмо.

Таков М. М. Пришвин.

*Октябрь 1938.*

P.S. Недавно попала мне на глаза его «Сказка о покупке дома в Загорске» (из книги «Большое гнездо»), в которой он вспоминает свое житье в исторической усадьбе Ботик близ Переславля-Залесского. «Так хорошо мне было здесь, – откровенничает он, – что перестало даже тянуть вдаль, и очень возможно, что я бы тут навсегда и остался». Но, верный своей манере не считаться с фактом, свою квартиру во дворце (кстати сказать, новой постройки, 1853 года) называет холодной, состоящей из двух комнат, (а не из четырех). Заговорив о Берендеевом болоте, без стеснения преподнес небывалое археологическое известие, что в нем «при торфяных разработках нашли каменную бабу, чуть ли не современницу самого царя Берендея». Ничего подобного не было. Пришвин слышал старую легенду, выданную им за факт. Упомянув о моем брате Сергее Ивановиче, сделал его автором книги «Старчество в Древней Руси», никогда не писанной им. Пришвин перепутал: Сергей Иванович издал труд «Древнерусский духовник», что далеко не одно и то же. Сомнительно, чтобы он читал его, как и «Капитал» Маркса.

Свой дом в Загорске он называет «небольшим домиком», что совсем неверно: дом двухэтажный, низ каменный, верх деревянный, в нем не

меньше 5–6 комнат. Приобрел он его по дешевке. Сейчас надо заплатить за него не менее 30 000 рублей.

«Старушка просила за домик по состоянию моего кармана того времени огромную сумму – три тысячи рублей! И уступить ничего не хотела». Зачем нужно было прибедняться, ведь деньги у него были!

Писатель Александр Степанович Яковлев квартировал тогда в Москве, а Пришвин почему-то изображает его живущим в Загорске.

Действительно, только в сказках можно не считаться с действительностью. Нелегко будет биографу Пришвина составить по ним подлинную биографию его: столько он нагородил выгодной ему фантастики в своих писаниях о себе, что к ним, как к древнерусским «житиям», необходимо сугубо критическое отношение.

*Сентябрь 1939*